

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



ЛЕВ  
ТОЛСТОЙ



Севастопольские  
рассказы



МОСКВА

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Т53

Оформление серии  
*Натальи Ярусовой*

**Толстой, Лев Николаевич.**  
Т53 Севастопольские рассказы / Лев Толстой. — Москва : Эксмо, 2026. — 288 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-229970-4

Лев Толстой — великий русский писатель, философ и мыслитель.

«Севастопольские рассказы» — это цикл из трех произведений, основанный на личном опыте автора как участника обороны Севастополя (1854–1855) в Крымской войне. Они изображают героизм солдат, ужасы войны, быт осажденного города и общую, часто бессмысленную, жестокость военных действий. Предваряет цикл статья историка Евгения Тарле.

В сборник также вошли и другие рассказы о войне и о офицерском быте: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Как умирают русские солдаты (Тревога)».

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-229970-4

© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2026

## О «Севастопольских рассказах»

В осажденном Севастополе зимой, весной и летом 1855 года в самых отдаленных один от другого пунктах оборонительной линии неоднократно замечали невысокого сухощавого офицера, некрасивого лицом, с глубоко впавшими, пронзительными, жадно вглядывавшимися во всё глазами. Он появлялся сплошь и рядом в тех местах, где вовсе не обязан был по службе находиться, и преимущественно в самых опасных траншеях и бастионах. Это был очень мало кому тогда известный молодой поручик и писатель, которому суждено было так прославить и себя и породивший его русский народ, — Лев Николаевич Толстой. Наблюдавшие его тогда люди недоумевали впоследствии, каким образом он умудрился уцелеть среди непрерывного, страшного побоища, когда он будто нарочно нарывался каждый день на опасности.

В молодом, начинавшем свою великую жизнь Льве Толстом жили тогда два человека: защитник осажденного врагами русского города и гениальный художник, всматривавшийся и вслушивавшийся во все, что вокруг него происходило. Но было в нем тогда одно чувство, которое и руководило его военными, служебными действиями и направляло и вдохнов-

ляло его писательский дар: чувство любви к родине, попавшей в тяжелую беду, чувство самого горячего патриотизма в лучшем значении этого слова. Лев Толстой нигде не распространяется о том, как он любит страдающую Россию, но это чувство проникает во все три севастопольских рассказа и каждую страницу в каждом из них. Великий художник вместе с тем, описывая людей и события, говоря о себе самом и о других людях, рассказывая о русских и о неприятеле, об офицерах и солдатах, ставит себе прямой целью решительно ничего не приукрашивать, а давать читателю правду — и ничего, кроме правды.

«Герой же моей повести, — так кончает Толстой второй свой рассказ, — которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

И вот перед нами воскресает под гениальным пером героическая оборона Севастополя. Взятые только три момента, выхвачены только три картины из отчаянной, неравной борьбы, почти целый год не стихавшей и не умолкавшей под Севастополем. Но как много дают эти картины! Эта небольшая книжка — не только великое художественное произведение, но и правдивый исторический документ, свидетельство пронизательного и беспристрастного очевидца, драгоценное для историка показание участника.

Первый рассказ говорит о Севастополе в декабре 1854 года. Это был момент некоторого ослабления и замедления военных действий, промежуток между кровавой битвой под Инкерманом (24 октября/5 ноября 1854 года) и битвой под Евпаторией (5/17 февраля 1855 года). Но если могла несколько поотдохнуть и поправиться полевая русская армия, стоявшая в окрестности Севастополя, то город Севастополь и его гарнизон и в декабре не знали передышки

и забыли, что значит слово «покой». Бомбардировка города французской и английской артиллерией не прекращалась. Руководитель инженерной обороны Севастополя полковник Тотлебен очень торопился с земляными работами, с возведением новых и новых укреплений. Солдаты, матросы, рабочие трудились под снегом, под холодным дождем, без зимней одежды, полуголодные, и трудились так, что неприятельский главнокомандующий, французский генерал Канробер спустя сорок лет не мог без восторга вспомнить об этих севастопольских рабочих, об их самоотвержении и бесстрашии, о несокрушимо стойких солдатах, об этих, наконец, шестнадцати тысячах моряков, которые почти все полегли, вместе со своими тремя адмиралами — Корниловым, Нахимовым и Истоминым, но не уступили порученных им в обороне Севастополя рубежей.

Толстой рассказывает о матросе с оторванной ногой, которого несут на носилках, а он просит остановить носилки, чтобы посмотреть на залп нашей батареи. Подлинные документы, сохранившиеся в наших архивах, приводят сколько угодно точно таких же фактов. «Ничего, нас тут двести человек на бастионе, дня на два еще нас хватит!» Такие ответы давали солдаты и матросы, и никто из них при этом даже не подозревал, каким надо быть мужественным, презирающим смерть человеком, чтобы так просто, спокойно, деловито говорить о своей собственной завтрашней или послезавтрашней неизбежной гибели! А когда мы читаем, что в этих рассказах Толстой говорит о женщинах, то ведь каждая его строка может быть подтверждена десятком неопровержимых документальных свидетельств. Жены рабочих, солдат, матросов каждый день носили мужьям обед в их бастионы, и нередко одна бомба кончала со всей семьей, хлебавшей щи из принесенного горшка. Без-

ропотно переносили страшные увечья и смерть эти достойные своих мужей подруги. В разгар штурма 6/18 июня жены солдат и матросов разносили воду и квас по бастионам — и сколько их легло на месте!

Второй рассказ относится к маю 1855 года, а помечен этот рассказ уже 26 июня 1855 года. В мае произошла кровавая битва гарнизона против почти всей осаждающей армии неприятеля, желавшей во что бы то ни стало овладеть тремя передовыми укреплениями, выдвинутыми перед Малаховым курганом: Селенгинским и Волынским редутами и Камчатским люнетом. Эти три укрепления пришлось после отчаянной битвы оставить, но зато 6/18 июня русские защитники города одержали блестящую победу, отбив с тяжкими для неприятеля потерями общий штурм, предпринятый французами и англичанами. Толстой не описывает этих кровавых майских и июньских встреч, но читателю рассказа ясно по всему, что совсем недавно, только что произошли очень крупные события у осажденного города.

Толстой, между прочим, описывает одно короткое перемирие и прислушивается к мирным разговорам между русскими и французами. Очевидно, он имеет в виду то перемирие, которое было объявлено обеими сторонами тотчас после битвы 26 мая/7 июня, чтобы успеть убрать и схоронить множество трупов, покрывавших землю около Камчатского люнета и обоих редутов. В этом описании перемирия нынешнего читателя поразит, вероятно, картина, рисуемая здесь Толстым. Неужели враги, только что в яростной рукопашной борьбе резавшие и коловшие друг друга, могут так дружелюбно разговаривать, с такой лаской, так любезно и предупредительно относиться друг к другу? Но и здесь, как и везде, Толстой строжайше правдив, и его рассказ вполне согласуется с историей. Когда я работал над документами по обороне

Севастополя, мне беспрестанно приходилось наталкиваться на такие точь-в-точь описания перемирий, а ведь их было за время Крымской войны несколько.

Да, тогдашние наши враги нисколько не походили на то подлое, беспредельно жестокое немецко-фашистское зверье, которое бросает русских детей в колодцы и выкалывает глаза русским пленным. Во время Крымской войны жизнь пленника была и для русских, и для их противников священна, соблюдались международные правила ведения войны, враги сражались в честном бою. Гнусные немецко-фашистские изверги, пытающие женщин, убивающие детей и сжигающие живьем пленных красноармейцев, — для нас не честные военные противники, а уголовные преступники, которых ждет — и не минует! — заслуженная ими кара.

Третий рассказ Толстого относится к Севастополю в августе 1855 года. Это был последний, самый страшный месяц долгой осады, месяц непрерывных, жесточайших, днем и ночью не утихавших бомбардировок, месяц, окончившийся падением Севастополя 27 августа 1855 года. Как и в предыдущих своих двух рассказах, Толстой описывает события так, как они развертываются перед глазами выбранных им двух-трех участников и наблюдателей всего происходящего. Можно десять раз перечитывать этот третий рассказ, и все-таки нельзя избавиться от чувства щемящей боли, когда слышишь, как Толстой повествует о великом русском героизме, ничуть не ослабевшем в эти ужасающие последние дни и часы обреченной крепости, и об уходе нашего войска из южной части Севастополя...

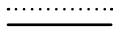
И, однако, когда закрываешь книгу, это чувство боли сменяется другим — чувством гордости и спокойствия за нашу родину. Геройская оборона Севастополя в 1854–1855 гг. и не менее величественная

оборона этого же города в 1941–1942 гг. доказала лишний раз, что русский народ умеет любить и защищать свою страну и через всю историю свою гордо пронес героические традиции русского оружия, овеяв его новой бессмертной славой в Великой Отечественной войне с остервенелыми полчищами немецко-фашистских варваров. И одному из величайших сынов России, Льву Толстому, выпало на долю прославить своими никем не превзойденными творениями две русские национальные эпопеи: сначала Крымскую войну в «Севастопольских рассказах», а впоследствии победу над Наполеоном в «Войне и мире».

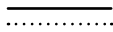
Как хочется читать и перечитывать в наши суровые и славные дни оба эти бессмертные произведения титана русского художественного творчества!

*Е. Тарле*





# Севастопольские рассказы





## Севастополь в декабре месяце

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащила на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т.п. — кучей лежат

около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина<sup>1</sup> держите, — скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, — вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все, — заметит бело-волосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит, — прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. — И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями

---

<sup>1</sup> Корабль «Константин». (Прим. Л. Н. Толстого.)

и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фуштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия, — так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидającychся на крыльце бывшего Соборного, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого

нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о героизме защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство, — идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — Слава богу теперь, — прибавляет он, — на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу/

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта

смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, — и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закатаны кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что́, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох, — прибавляет она шепотом. — Я его нынче чаем поила — что ж,

хоть и чужой, все надо жалость иметь, — так уж не бил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путеводительница, — она мужу на бастион обедать носила/

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутиций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит